

Л. ШЕСТОВ

Достоевский и Ницше (философия трагедии) (фрагмент)

XVIII

Мы проследили историю перерождения убеждений Достоевского. В основных чертах она сводится к попытке реабилитации прав подпольного человека. Если мы теперь обратимся к сочинениям Ницше, то, несмотря на то, что с внешней стороны они так мало похожи на то, что писал Достоевский, мы, прежде всего, найдем в них несомненные и ясно выраженные следы тех настроений и переживаний, которые нас поразили в творчестве этого последнего. И Ницше был в молодости романтиком, заоблачным мечтателем. Об этом говорит нам не только первое его произведение — «Рождение трагедии», но даже и статьи «Шопенгауэр как воспитатель» и «Вагнер в Байройте», непосредственно примыкающие к «Menschliches, Allzumenschliches», сочинению, в котором он в первый раз в жизни, еще робко и осторожно, позволяет себе взглянуть на мир и людей собственными глазами. За этот опыт ему пришлось расплатиться дорогой ценой. Большинство его друзей, в том числе и сам Вагнер, отвернулись от него. Никто из них, как это всегда бывает, не заинтересовался причиной внезапного перелома, происшедшего в душе Ницше. Друзья лишь подняли крик, что он «изменил» прежним убеждениям и нашли, что этого вполне достаточно, чтоб осудить человека. Все знали, что Ницше тяжело и мучительно болен. Но и в этом не видели смягчающих вину обстоятельств. Вагнер, еще недавно превозносивший литературную деятельность Ницше, по прочтении «Menschliches, Allzumenschliches» так вознегодовал, что не счел даже нужным попытаться усювестить своего молодого друга и ученика. Он просто замолчал и уже до самой своей смерти не возобновлял сношений с Ницше. Так что в самую трудную минуту своей жизни, когда человек, по общему мнению, наиболее всего нуждается в нравственной поддержке, Ницше оказался совершенно одиноким. Правда, общее мнение в этом случае, как и во многих других, под видом несомненной истины преподносит нам несомненное заблуждение. В действительно трудные минуты жизни поддержка друзей обыкновенно ничего не дает и не может дать человеку, и лишь тяготит его назойливым требованием откровенности и признаний. В такие моменты лучше всего оставаться одному. Хватит сил вынести свое несчастье — выйдешь победителем. Не хватит — все равно, никакой Вагнер не поможет. Я говорю, конечно, не об обыкновенных житейских трудностях, при которых всегда два ума лучше, чем один, а о тех случаях, когда, по выражению Достоевского, земля трещит под ногами. А ведь в жизни они бывают гораздо чаще, чем в романах. Тут друзья ничем не могут помочь. Но друзья Ницше и не думали помогать ему. Они стали его врагами и, не желая дать себе труд понять человека, мстили ему презрением. По словам же Ницше, на этот раз особенно заслуживающим доверия, презрение других гораздо труднее вынести, чем собственное презрение к себе.¹ И точно, как бы человек ни презирал себя, в глубине души его всегда живет еще надежда, что он все-таки отыщет выход из своего трудного положения. Приговор же людей беспощаден, неумолим, окончателен. Его между делом бросают осужденному с тем, чтоб никогда уже вновь не пересмотреть его...

Печатается по: Шестов Л. Сочинения в 2 тт. Т.1. Томск, 1996. С. 400–408.

¹ Ницше, т. II, с 376.

По собственному признанию Ницше, «Шопенгауэр как воспитатель» и «Вагнер в Байройте» были им написаны, когда он уже не верил ни в философию Шопенгауэра, ни в искусство Вагнера. А между тем, обе эти статьи — сплошной панегирик им. Для чего же понадобилось такое притворство? Ницше объясняет, что, прощаясь со своими учителями, он хотел выразить им свою признательность и благодарность за прошлое. Я полагаю, что читатель найдет такой способ выражения благодарности не заслуживающим одобрения: нужно уметь жертвовать ради истины своими друзьями и учителями. Вероятно, и сам Ницше держался такого же мнения, если же он все-таки выступает открытым сторонником Шопенгауэра и Вагнера, хотя знает, что пришло время проститься с ними, то на это у него были иные, может быть, менее красивые, но, несомненно, более глубокие и серьезные причины. Очевидно, дело было не в учителях, а в ученике: Ницше бы, пожалуй, менее церемонно распрощался с руководителями своей юности, если бы сам твердо знал, куда ему идти от них. Мы видим, что признательность и благодарность не помешали ему впоследствии написать резкую статью о Вагнере, не помешали также называть Шопенгауэра «старым фальшивомонетчиком». Но это уже было под конец его литературной деятельности, в 1886–1888 году. В 1875 году он еще не смел думать, что нарождающиеся в его душе мысли и настроения, еще неопределенные и хаотические, возможно будет противопоставить стройной и законченной, уже нашедшей себе признание философии Шопенгауэра и прогремевшей на всю Европу славе Вагнера. Ему казалось тогда, что самое ужасное, что может случиться с человеком, это — разрыв с учителями, измена прежней вере и убеждениям. Он думал, что убеждения однажды на всю жизнь получаются человеком из рук достойных учителей. Хотя он и много читал, но ему и в голову не пришло, что такие полученные готовыми от других людей убеждения менее ценны, чем собственный, выработанный своими испытаниями, своими страданиями взгляд на жизнь. То есть, если хотите, он знал и это. Даже сам высказывался в этом смысле, ибо в книгах, которые он читал (хотя бы у Шопенгауэра), об этом не раз и подробно говорится. Но когда наступил «опыт», когда пришла неизвестность, Ницше, как и все люди в его положении, не догадался, что это — то, о чем говорится в книгах. Он лишь с ужасом почувствовал, что в душе его зашевелилось нечто неслыханно безобразное и ужасное. В своих муках, в своей безнадежности он не узнал прославленного «страдания», которое он вслед за Шопенгауэром благословлял и призывал в своем первом произведении — «Рождении трагедии». Он так мало казался себе похожим на героя, на одного из многих интересных грешников, вроде Тангейзера, так красиво позировавших в операх Вагнера. В его положении не было и следа трагической красоты, которой он привык любоваться в произведениях древних писателей. Он не похитил с небес для блага человечества огня. Он не разгадал, как Эдип, загадки Сфинкса. Он не был даже в гроте Венеры. Наоборот, когда он оглядывался на свое прошлое, оно представлялось ему непрерывным рядом позорнейших унижений. Вот в каком свете рисуется ему его служение искусству, т. е. история его отношений к Вагнеру: «В одной партии,— говорит он в афоризме, называемом «Мученик против воли»,— был человек, слишком робкий и трусливый, чтобы противоречить своим товарищам: им пользовались для всевозможных целей, от него добивались чего угодно, так как он больше, чем смерти, боялся дурного мнения своих единомышленников; это была жалкая и слабая душа. Товарищи понимали его и, пользуясь указанными его свойствами, сделали из него героя, а под конец даже и мученика. Хотя слабый человек про себя всегда говорил «нет», но вслух он произносил «да», — даже на эшафоте, когда умирал за убеждения своей партии: подле него стоял один из его старых товарищей, который так тиранизировал его взглядом и словом, что он и в самом деле достойно встретил смерть и с тех пор считается мучеником и великим характером».² Если в этих словах резюмируется «прошлое» Ницше, то можно ли поверить, что при прощании с ним человек испытывал чувство благодарности и признательности? Не вероятнее ли, что статьи «Вагнер в Байройте» и «Шопенгауэр как

² Соч., т. II, с. 86.

воспитатель» были написаны лишь потому, что Ницше все еще продолжал чувствовать на себе взгляд Вагнера (а может быть, и не одного Вагнера) и не в силах был бороться с его гипнотизирующим влиянием. Да и как бороться? Для этого, прежде всего, нужно было вырвать из себя уважение к себе, назвать свое прошлое настоящим именем, признаться, что газетные критики, которых он привык считать жалкими и недостойными людишками, были правы, называя его «литературным лакеем Вагнера». Иными словами, нужно обречь себя на существование «последнего человека». На такой ужасный шаг человек не сразу решается. Ницше все еще надеется, что может быть еще полезным своей партии хотя бы тем, что словами будет поддерживать ее принципы и стремления. По крайней мере, доброе имя будет сохранено, по крайней мере, никто не узнает, как он отвратительно и постыдно несчастен. Это чего-нибудь да стоит. Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи и в честь Шопенгауэра и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья. Но и то сказать, кому нужна была его правда? И что мог бы он рассказать, если бы хотел говорить правду? Признаться открыто в своей негодности? Но разве мало на свете негодных людей? И разве такое признание могло кого-нибудь поразить или заинтересовать? Ведь, в сущности, ничего особенного и не произошло. Ницше думал о себе, что он достойный человек, предназначенный для важного и значительного дела. Оказалось, что он ошибся, что он был ничтожным и жалким человеком. Такие случаи часто бывают в жизни. О них никто и не вспоминает. Так, например, самому же Ницше пришлось убедиться, что Давид Штраус, почитавшийся немцами за великого философа и образцового стилиста, на самом деле лишь «образованный филистер», плохо владеющий обыкновенным литературным языком. Разве кого-нибудь, и самого Ницше, это открытие поразило, ужаснуло? Нет, конечно. На земле и без Давида Штрауса осталось достаточно примечательных философов и образцовых стилистов. Если бы Ницше объективно рассудил, то мог бы легко убедиться, что и его собственный случай не имеет особенного значения. А если бы он к тому же еще припомнил основные положения философии Шопенгауэра, то мог бы вполне утешиться в своем несчастье. Ведь «воля» осталась неизменной, стоит ли думать о том, что индивидуум, т. е. один из миллиардов случаев ее объективации, оказался раздавленным? Но обыкновенно «основные положения философии» мгновенно испаряются из памяти, как только человек серьезно столкнется с жизнью. Если Ницше и вспоминал Шопенгауэра, то не затем уже, чтоб искать у него утешения или поддержки, а чтобы предать его проклятию, как своего злейшего врага. «Такое слово я скажу моим врагам: что значит всякое человекоубийство в сравнении с тем, что вы сделали мне! То, что вы сделали мне — хуже всякого убийства, вы отняли у меня невозвратное: так говорю я вам, враги мои. Вы убили мои видения и милые чудеса моей юности. Вы отняли у меня товарищей моих, блаженных духов. В память о них я возлагаю здесь этот венок и это проклятие. Это проклятие вам — мои враги».³ Эти слова Заратустры относятся к Вагнеру и Шопенгауэру. Ницше прокликает своих учителей за то, что они погубили его юность...

XIX

Но, спросим опять: wozu solch Larm? Что такое случилось? Ницше погибает? Разве это достаточное основание, чтобы проклинать философию Шопенгауэра и музыку Вагнера? Если мы вспомним первые произведения Ницше, если мы прислушаемся к «учению» Заратустры о сверхчеловеке, то нам покажется, что, в сущности, Ницше решительно не было никакой нужды так волноваться. Не удалась одна жизнь — нет в том никакой беды. Природа производит индивидуумов миллионами, и ее задача не в сохранении и развитии отдельных экземпляров, а в совершенствовании вида, породы.

³ Соч., т. VI, Das Grablied.

Так говорил Шопенгауэр. Так или почти так говорил и Заратустра. Что с того, что погибли юношеские мечтания одного профессора? Разве человечеству это грозит какой-нибудь опасностью?

Ницше отлично понимал, что принятые им от Шопенгауэра философские положения заключают в себе его приговор. Если бы он хоть вправду был считать себя примечательным человеком! Но, в свое оправдание, он не мог даже сослаться на свои необыкновенные дарования. Как видно из приведенного в предыдущей главе афоризма «Мученик поневоле», в ту пору он сам видел в себе лишь жалкого прислужника Вагнера. Зачем же существовать такому ничтожеству? Не лучше ли тихо и незаметно стусеваться, уступить место в жизни более достойным представителям человеческой породы? Теперь именно Ницше представлялся случай осуществить высокие требования общепринятой нравственности, взятые под свое покровительство философией Шопенгауэра, и доказать не на словах, а на деле, что идея самопожертвования и самоотречения — не пустой звук, а великая сила, способная воодушевить человека и дать ему смелость покорно вынести самую мучительную судьбу. Но Ницше поступил как раз наоборот тому, чего от него требовали его прежние «убеждения», полученные от великого воспитателя Шопенгауэра. Вместо того чтобы покориться и радоваться в своем несчастье прошлым успехам и новым надеждам человечества — что наиболее бы соответствовало выраженным в «Рождении трагедии» убеждениям — Ницше решает своей судьбой проверять справедливость и истинность завещанных нам тысячелетиями и столько раз блестяще оправданных лучшими умами человечества идеалов. Уже в «Menschliches, Allzumenschliches» он поднимает вопрос о «ценности неэгоистических мотивов, об инстинктах сострадания, самоотречения, самопожертвования, которые именно Шопенгауэр так долго золотил, обожествлял, опотусторонивал (*verjenseitigt*), пока они, наконец, не стали для него ценностями *an sich*».⁴ И для разрешения этого вопроса он уже не обращается, как прежде, когда писал свои первые произведения, к философам, поэтам, проповедникам, словом, к учениям, передававшимся людьми из поколения в поколение. Он чувствует, что во всем этом он не найдет ответа для себя, словно все учителя человечества сговорились молчать о том, что для него важнее всего. И о своих собственных сочинениях, в которых он когда-то выступал с такой гордостью и уверенностью всезнающего и всепонимающего судьи, он долгое время не смеет обмолвиться ни одним словом. Только впоследствии, через много лет он делает в предисловии или, вернее, в послесловии к «Рождению трагедии» попытку оценить свой первый литературный опыт. И странно устроено человеческое сердце! Несмотря на то, что эта книга кажется ему во многих отношениях дурно написанной, несмотря на то, что он превосходно видит все ее недостатки («...но книга, в которой вылились мой юношеский пыл и подозрительность, что за невозможная книга должна была вырасти из такой не юношеской задачи»⁵), он не может не питать к ней отеческой нежности. А между тем, он, собственно говоря, должен был бы ненавидеть ее так же, как сочинения Шопенгауэра и музыку Вагнера. Она ведь была наиболее полным выражением той отчужденности от жизни, той боязни действительности, словом, того романтизма, который, благодаря специфически оранжерейному воспитанию Ницше, так всецело и в такой ранней молодости овладел его доверчивой душой. И не только «Рождение трагедии» — все первые произведения Ницше, вплоть до «Menschliches, Allzumenschliches», по той же причине должны бы были быть ненавистны их автору. Все они — романтизм чистейшей воды, т. е. более или менее грациозная игра *готовыми* поэтическими образами и философскими понятиями. Для молодого Ницше слово Шопенгауэра — закон. «Я принадлежу,— пишет он в 1875 году, когда ему уже было тридцать лет и когда действительность стала уже предъявлять к нему свои первые грозные требования, — к числу тех читателей Шопенгауэра, которые, прочитав первую

⁴ Соч., т. VII, с. 292.

⁵ Соч., т. I, с. 3.

страницу его сочинений, уже наверное знают, что прочтут все, что он писал и вообще внимательно прислушаются к каждому его слову. Он сразу приобрел мое доверие, и теперь оно не меньше, чем было девять лет тому назад. Я понимаю его, как будто он писал нарочно для меня». ⁶ Как видите, Ницше плохо поместил свое доверие. И вообще, с «доверием» нужно обращаться осторожней — Шопенгауэр же менее всего годится в учителя юношеству уже ввиду тех вопросов, о которых у него идет речь и до которых молодому человеку, даже даровитому, обыкновенно очень мало дела. Не лучше обстояло дело и с музыкой. И Вагнер с его операми опасен для несозревших людей, принуждая их до времени входить в чуждые и недоступные им сферы. Впоследствии сам Ницше вполне ясно сознал это. «Я был влюблен в искусство, — пишет он, — с истинной страстью и, в конце концов, во всем существующем не видал ничего, кроме искусства — в те годы, когда обыкновенно иные страсти волнуют душу человека». ⁷

Впрочем, собственно говоря, доверие к учению Шопенгауэра и увлечение Вагнером вовсе не всегда так фатально губительны для человека. Если бы жизнь Ницше прошла без случайных осложнений, то, может быть, он до глубокой старости сохранил бы в душе чувства любви и преданности к своим учителям. Романтизм далеко не всегда уродует и коверкает человеческую судьбу. Наоборот, часто он счастливо оберегает людей от столкновения с действительностью и способствует сохранению на долгие годы того прекраснотушия, той ясности и светозарности взглядов, того доверия к жизни, которые мы выше всего ценим в философах. И Ницше мог бы до конца дней своих развивать те идеи, которые положены им в основание «Рождения трагедии». Он мог бы учить людей мириться с ужасами жизни, мог бы, как делал его предшественник, прославлять «философа, художника и святого». И, наверное бы, снискал себе великое уважение среди современников и славу в потомстве: ведь называет же проф. Риль его «Рождение трагедии» гениальным произведением. Правда, может, в этом отзыве немецкого профессора позволительно видеть некоторую политическую хитрость. Может быть, проф. Риль, не находя удобным все сплошь порицать в Ницше и желая иметь вид беспристрастного и справедливого судьи, предпочитает преувеличенно похвалить ту книгу Ницше, которая наиболее похожа на то, что пишут все, с тем, чтоб развязать себе руки и уже потом свободно нападать на остальные его произведения. Но все же несомненно, что если бы Ницше продолжал писать в духе «Рождения трагедии», то ему пришлось бы лишь настолько отделиться от общепринятых убеждений и взглядов, насколько это разрешается существующими представлениями о дозволенной и желательной оригинальности. Он бы, конечно, в начале своей писательской деятельности имел и противников, но под конец достиг бы той виртуозности изложения, которая покоряет и врагов и наиболее всего обеспечивает человеку радостное уважение окружающих его ближних. Несомненно, что при иных обстоятельствах Ницше писал бы иное, и проф. Риль мог бы со спокойной совестью называть все его произведения гениальными.

Но судьба решила иначе. Вместо того чтобы предоставить Ницше спокойно заниматься будущим всего человечества и даже всей вселенной, она предложила ему, как и Достоевскому, один маленький и простой вопрос — о его собственном будущем. И проникновенный философ, бестрепетно глядевший на ужасы всего мира, смутился и потерялся, как заблудившееся в лесу дитя, пред этой несложной и почитающейся легкой задачей. В этом деле его прошлая ученость оказалась для него бесполезной, даже тягостной. «Все торжественное опротивело мне, — пишет он. — Что мы такое?» ⁸ А между тем, это «торжественное» было то, чем он жил до сих пор, что он считал величайшей мудростью и в распространении чего видел свое провиденциальное назначение. Теперь это нужно бросить. Но что же тогда останется? Как взглянуть в лицо всем людям, что сказать Вагнеру, как быть наедине с самим собою? Некоторое время

⁶ Соч., т. I, с. 398.

⁷ Соч., т. XI, стр. 130.

⁸ Соч., т. XI, с. 153.

Ницше делает попытки примирить свою новую действительность со старыми «убеждениями». Как уже указано, он пишет статьи о Вагнере и Шопенгауэре, надеясь, что привычка возьмет свое, и он снова сживется с так необходимой ему теперь верой в идеалы. Но расчет был ошибочен. Притворное служение и для человека в обыкновенных обстоятельствах — дело очень нелегкое. Для Ницше же, в его ужасном положении, оно обратилось в настоящую пытку. Он увидел, что жить по-старому *невозможно*. И зная, что его ждет, зная, что друзья и, главным образом, Вагнер никогда не простят ему измены, он отвернулся от старых богов и пошел по новому пути, хотя и новый путь ничего, кроме опасностей, мучительных сомнений и вечного одиночества ему не сулил...